

**СДЕЛАНО
В СССР**



**ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ**

ГИЛЬЗЫ В ЗОЛЕ

Тихон Астафьев



Сделано в СССР. Любимый детектив

Тихон Астафьев
Гильзы в золе (сборник)

«ВЕЧЕ»

2017

Астафьев Т. Д.

Гильзы в золе (сборник) / Т. Д. Астафьев — «ВЕЧЕ»,
2017 — (Сделано в СССР. Любимый детектив)

ISBN 978-5-4484-7295-4

В книгу известного прозаика, заслуженного юриста РСФСР Тихона Даниловича Астафьева (1925–1998) вошли рассказы, материалом для которых послужили наблюдения и отдельные случаи из его многолетней работы следователем. Разные герои, по-разному складываются их судьбы. И в первую очередь это те сотрудники правоохранительных органов, кто, несмотря ни на что, нередко рискуя собственной жизнью, днем и ночью стоит на страже общественного порядка, предупреждает или раскрывает преступления, помогает сделавшим неверные шаги выйти на правильную дорогу, вновь обрести доброе имя советского человека. В некоторых рассказах («Куда исчез Макаров», «Гильзы в золе», «Карьера Степана Шмыги», «Дипсоман», «Тридцать страниц дневника») сохранены подлинные фамилии работников милиции, следователей.

ISBN 978-5-4484-7295-4

© Астафьев Т. Д., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

ОТ АВТОРА	6
ДВЕ СЕМЬИ	7
НУЛЕВОЙ ЦИКЛ	11
ТРИДЦАТЬ СТРАНИЦ ДНЕВНИКА	19
ОСИНОВАЯ ЗЕЛЕНЬ	24
НОЧЬЮ	28
МАТЬ И ДОЧЬ	34
ОПЕРАЦИЯ «ШНИЦЕЛЬ»	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Тихон Астафьев

Гильзы в золе

Знак информационной продукции **12+**

© Астафьев Т. Д., наследники, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.vecche.ru

ОТ АВТОРА

В этой книге помещены рассказы, материалом для которых послужили наблюдения и отдельные случаи из моей многолетней работы следователем.

Разные люди проходят через эти рассказы. По-разному складываются их судьбы. Но в первую очередь мне хотелось поведать о тех, кто, несмотря ни на что, нередко рискуя собственной жизнью, днем и ночью стоит на страже общественного порядка, предупреждает или раскрывает преступления, помогает людям, сделавшим неверные шаги, выйти на правильную дорогу, вновь обрести доброе имя советского человека. В некоторых рассказах («Куда исчез Макаров», «Гильзы в золе», «Карьера Степана Шмыги», «Дипсоман», «Тридцать страниц дневника») сохранены подлинные фамилии работников милиции, следователей.

ДВЕ СЕМЬИ

Дети гоняли по льду новенький дамский туфель. Проходивший мимо управдом спросил, где они его взяли. Дети повели управдома к каменному забору. Прямо на снегу, возле раскрытого чемодана, лежала груда модельной дамской обуви. Рядом из снега торчал угол другого чемодана. Управдом вытащил его и раскрыл, там лежали старые резиновые сапоги и инструменты: короткий ломик, ручное сверло и стамеска. Он позвонил в милицию.

Вблизи этого места была устроена засада. Вечером пришли двое. Один остался на улице, другой зашел во двор. Одного схватили, другому удалось бежать. Задержанный назвался Иваном Никульшиным.

Места, которыми пробирался Зубов, были знакомы ему с детства. В четырех километрах отсюда, в селе Орлово, он родился. На станции Тресвятская, куда он теперь шел, жили его дочь и бывшая жена. Василий оставил их двадцать лет назад. Теперь он всем чужой. Но и ему никто не нужен. Пересыльные тюрьмы, Байкало-Амурская магистраль, Тигровая падь, Колыма, прииск «Загадка» не научили его работать. Он устраивался лишь для того, чтобы не беспокоили участковые. В гуще жизни он чувствовал себя инородным телом. Ему уже сорок шесть. Теперь он не колесит, как прежде, по городам Союза, воодушевленный удачами и собственной дерзостью. Он уже не беспечен и не самоуверен. Он знает, какова жизнь. Может быть, потому Василий был в ту ночь излишне осторожен. Когда с вещами стали приближаться к перекрестку, им овладел страх. Ему стало казаться, что новый вид чемоданов непременно привлечет внимание постового. Зубов предложил Никульшину спрятать чемоданы в ближайшем дворе. Иван скрепя сердце согласился. Он считал, что вещи за ночь могут пропасть. Чемоданы закопали в снег. Когда же подошли к перекрестку, то постового там не оказалось. Никульшин даже плюнул от злости. Возвращаться за вещами не оставалось времени. С ними были еще два мешка, которые они везли на санках. Боялись опоздать к поезду. На следующий день напарник тоже не имел оснований восторгаться Зубовым. Василий остался на улице, когда Никульшин пошел во двор. «Что ж, в жизни всегда кто-то на ком-то едет», – думал Зубов.

Сейчас Василий был уверен, что Никульшин не может ему повредить. Он мог выдать Зубова, только погубив себя. Долю Никульшина Василий перепрятал на краю оврага, под корнями старой ветлы, салазки он бросил в овраг, в снег. Сейчас он налегке шагал по дороге, рассклавшей надвое пристанционный лес. Гудки товарных поездов будили настороженную тишину. За опушкой дорога раздваивалась, левая тропинка вела к вокзалу, правая – в Сеницыно. Когда Василий был молод, поселок от станции Тресвятская отделяли целых три версты. Теперь Сеницыно разрослось и стало окраиной пристанционного поселка. Зубов шел в Сеницыно.

Он и сам не знал, зачем шел. Отцовский дом развалился. Старик умер, когда Василий отбывал срок на Колыме. Мать – еще раньше. Жена и дочь? Но они ему чужие. Всякий раз, когда он пытался представить дочь взрослой, перед глазами всплывало красное сморщенное личико с немигающими бессмысленными глазами. Позади двадцать лет. В двадцать лет Зубов был женат. Пройти мимо или постучаться?

Евдокия узнала его по голосу.

– Чего тебе? – спросила она через дверь. И собственный голос показался ей чужим.

– Открой, не съем.

Он вошел, щурясь от яркого света. Комната была небольшой, но ослепительно-чистой. Пол сверкал желтой краской, скатерти и занавески были накрахмалены. Василий нагнулся за веником, чтобы обмести ноги. Евдокия заметила, что к его спине прилипли сосновые иглы. «По лесу где-то лазил», – подумала она.

Он глядел на взрослую дочь, мягкую и застенчивую, похожую как две капли воды на мать в молодости, глядел на книги, на клеенчатые тетради, на скатки чертежей, на какие-то

незнакомые предметы (это были рейшина и готовальня) и ощущал, что пришел к незнакомым людям. За время многочисленных отсидок он отстал от жизни. Она сделалась какой-то другой, люди думали и говорили совсем по-другому.

Девушка разглядывала человека, который приходился ей отцом. В детстве она часто и много думала о нем.

Мать и дочь жили тогда в доме деда, где помимо них ютилось восемь человек. Небольшой хилый стол никогда не был свободен. Уроки приходилось делать, положив тетрадь на табуретку и стоя около нее на коленях. Мысль о том, что отец все равно приедет и увидит, как плохо и неуютно ей здесь, не покидала девочку. Мать работала на вагоноремонтном заводе. Чтобы попасть на смену, ей приходилось вставать в пять утра и идти четыре километра до станции. Возвращалась поздно. Из подсобных рабочих ее через два года перевели в бригаду маляров. Теперь она занималась окраской вагонов, и ей стали больше платить. Юлия уже не ходила зимой в школу в галошах на шерстяной носок. Ей купили валенки.

Прошли годы. Теперь девушка слишком много знала о жизни, чтобы пришедший мог у нее вызвать какое-либо другое чувство, кроме отчуждения и, пожалуй, любопытства.

Дочь приготовила чай. Василию предложили раздеться. Он снял бушлат и меховую безрукавку, Евдокия повесила одежду на вешалку.

Через три часа, шагая на станцию к поезду, Зубов ежился от встречного ветра. Он забыл свою безрукавку на вешалке, но возвращаться не захотел. Василий с ненавистью вспоминал все, что ему сказали.

У Никульшина щетинистое, изборожденное морщинами лицо, тусклый взгляд, словно никогда не знавший солнца, одежда, при виде которой возникает желание отодвинуться.

– Ты знаешь, следовательно, ты брось. Не путай меня, – говорит он сиплым голосом.

– Кто был второй, который убежал?

– Поймали бы да спросили.

От него душно пахнет застарелым перегаром. Трудно поверить, что этот человек был когда-то лучшим на селе работником, служил когда-то на станции кассиром.

Началось с магарычей.

После работы в товарной конторе Никульшин отправлялся шибайничать. Он умел делать все: чинил крыши, подводил водопровод, копал погреба, ремонтировал электрические утюги, перекладывал печи, лил из автомобильных камер кустарные галоши. Но заработанное не шло впрок. Домой он возвращался нетвердым шагом. Держась за косяк, он вваливался в комнату и опускался на пол. Если жена была в ночной смене, шестилетний сын с бабкой стлали на полу рваную шубу и перетаскивали на нее спящего. Жена от него уходила три раза, но возвращалась, потому что с отцом оставался сын. Мальчик не чаял в отце души. Никульшин, когда бывал трезв, мог часами вместе с сыном мастерить что-нибудь. Змей с двумя трещотками, корабль с системой парусов, самокат на резиновых колесиках вызывали зависть ребят всей улицы. В субботу Никульшин отправлялся на рыбалку и брал с собою сына. Они ночевали в шалаше. Связку сверкающих окуней, щук и красноперок нес по селу мальчик, гордо шествовавший впереди отца.

Зубова два дня назад Никульшин встретил на вокзале. У Ивана тогда начинался запой. Острый запах спиртного терзал обоняние, вызывая в груди беспокойство и мучительное ожидание чего-то. Он не находил места, не мог ни о чем думать и ошалело слонялся по вокзалу.

Теперь Иван вспоминал, как в тот вечер в строящемся доме, куда они залезли через окно, он дрожащей рукой налил себе стопку чистой, как слеза, «Столичной», которую Зубов купил в гастрономе на проспекте. Мысли о Зубове вызывали озлобление. Когда они проламывали на чердаке дыру, Зубов вздрагивал от каждого шороха. Иван не мог простить себе торопливости, с какой поспешил обуть прямо в магазине новые сапоги. Старые, резиновые, пришлось сунуть

в чемодан, оставленный в снегу. Теперь они могли погубить его. Никульшину казалось, что напарник догадывался о засаде. Иван вскакивал и в ярости шагал по камере.

Никульшин жил в селе Орлово. Нам пришлось ехать к нему в самую грязь. Дорога, утоптанная сотнями ног, еще сопротивлялась теплу, но по обочинам и в поле снег уже растаял. На высокой, как тесто, грязи лежали гребешки прошлогодней пахоты. Глубокие, в полметра, трещины разрезали толщу дороги. По ним струились ледяные ручьи. Передвигаться можно было только пешком. На полпути дорога спускалась в низину, от талой воды наст распустился. Шли по щиколотку в воде, смешанной со снегом и грязью. Мокрые носки и раскисшие туфли потом сушили в крайнем доме. Плита топилась углем. Уже через час мы простились с хозяином-железнодорожником и продолжали путь. Преодолев бурную речонку, рожденную тальми водами и рассекавшую улицу вдоль, мы скоро достигли жилища Никульшина.

Дом был кирпичный, но подслеповатый, вросший в землю. Когда мы вошли, взглядам представилась темная низкая комната. За столом сидела старуха в стеганых бурках и засаженной фуфайке. Беззубым ртом она жевала что-то. Место рядом занимала невестка, судя по одежде и выговору, из городских. Она смахнула очистки с табурета и предложила нам сесть.

Официальная часть разговора была непродолжительной. В присутствии двух соседей жене Никульшина предъявили резиновые сапоги. Первое, что пришло ей в голову, была мысль, что мужа сбила машина. Мы не стали опровергать этой догадки. Женщина без труда узнала сапоги. Носок левого был порван и залеплен узкой косой заплаткой: муж порвал его, напоровшись в темноте на колючую проволоку. Когда все подписи были поставлены, мы уже не видели нужды скрывать того, что случилось.

Старуха долго глядела на нас одним глазом (она была крива) и наконец прошамкала:

– Стало быть, Ванюшка забратый?

Она отодвинула картошку, кучку кильки.

– Ванюшка-то, он хороший, ребенок по нем обмирает.

– Сколько вам лет, мамаша?

Старуха подняла глаз на моего спутника.

– В десятом году замуж выходила, было восемнадцать. Вот считай... И-и, сынки, жить-то не страшно, страшно доживать.

Она высморкалась в грязный фартук.

– Пенсию дают, усадьбу нарезают, а все впустую. Кто руки-то приложит? Вишь они, сыновья-то какие...

В комнату с надворья вбежал мальчик лет шести, круглолицый и розовощекий, сбросил грязные сапоги и шмыгнул в кровать.

– Дружки-то Ванюшкины: кто агроном, кто тракторист, а он... нету ему счастья, – тоскливо проговорила старуха.

Спрашиваем, не пьет ли сын. Старуха долго молчит.

– То-то и пьет. А кто ж ее не пьет? Через это и все прахом. – Когда мы уже собираемся уходить, она спохватывается:

– Отпустили бы вы Ванюшку-то.

Как только Никульшин ознакомился с показаниями жены, он не стал больше запираяться и сам вызвался показать место, где спрятал ворованные вещи. Можно было предполагать, что поездка отвечает и его желаниям.

После трехчасовой езды по колеистым проселкам милицейская линейка остановилась в километре от станции Тресвятская. Никульшин, сопровождаемый двумя конвоирами, уверенно углубился в лес. Около молодой сосны зияла свежерытая яма, валялись этикетки, оберточная бумага. Никульшин поднял завязку и, выругавшись, швырнул:

– И мои забрал...

Еще не дойдя до машины, он рассказал, что кражу совершил вместе с Зубовым и что инструменты, найденные в чемодане, и салазки, на которых везли вещи, принадлежали Василию. Возвращались с тревожной мыслью, что Зубова в городе не застанем.

Его взяли с работы, прямо в промасленном комбинезоне, с грязными от мазута руками и привезли в прокуратуру. Он яростно отпирался. Маленький и коренастый, с острой плешивой головой, он торчал перед столом, словно гвоздь.

А в конце дня позвонили из Тресвятской. Проводник со служебной собакой вышел к оврагу, где Василий спрятал вещи, взятые из ямы Никульшина. Нашли и санки Зубова.

На следующий день, около одиннадцати утра, пришла жена Никульшина с сынишкой. Женщина принесла не только передачу, но и важную новость. Она рассказала о ночном появлении Василия в Синицыно. Евдокия Зубова вручила ей меховую безрукавку, оставленную Зубовым, и просила отдать следователю.

И все-таки женщина и мальчик пришли не вовремя. С минуты на минуту должны были привезти Никульшина. Мы не желали его встречи с женой и сыном. Но предотвратить ее не удалось. В коридоре послышался топот ног, и в кабинет ввалились двое конвоиров и арестованный. Женщина и ребенок, стоявшие у стола, обернулись. Никульшин и жена сделали произвольные движения один в сторону другого и замерли. Высокий старшина в огромных сапогах, в шинели с двумя рядами сверкающих пуговиц грубо подтолкнул Никульшина и прикрикнул:

– Иди, иди!

Он пододвинул ближайший к арестованному стул и указал на него. Никульшин сел.

– Папа! – вдруг выкрикнул мальчик и бросился к отцу.

Вмешиваться было поздно.

Никульшин сильными руками взял сына под мышки, посадил на колени.

Я листал бумаги, ничего не понимая в них.

– Мишка тебя не обижает?

Сын покачал головой.

– Пап, а почему тебя не пускают?

Никульшин потемнел. Стажер снял очки и снова их надел...

– Пап, а когда тебя пустят, ты мне саблю сделаешь?

Беззвучно вздрагивая, жена Никульшина подбежала к мальчугану и взяла его на руки.

– Пойдем, пойдем, Сережа! – сказала она и быстро выбежала с ребенком из комнаты.

Стажер весь день был молчалив. Даже вечером по пути домой он словно забыл свою привычку к бурному обмену мнениями и задумчиво провожал глазами убегавшие красные огоньки автомашин. Он безмолвно глядел, как фары выхватывают из темноты полосы дождевых брызг. Мы шагали вдоль серых зданий. Дождь усиливался. Наконец он стал сыпать на мостовую, хлестать по крышам домов, по кузовам троллейбусов, по стеклам витрин. Мы укрылись под козырьком какого-то киоска. Подняв воротник ветхого студенческого пальто, стажер сосредоточенно курил, не отворачивая лица от брызг.

Нам представлялось, как сейчас по глубокой грязи жена и сын Никульшина плетутся домой.

Мы думали об отце, который вместе с мешком промтоваров украл и детство у сына.

А дождь лил и лил.

НУЛЕВОЙ ЦИКЛ

Передо мной лежит увесистый том, именуемый уголовным делом. На обложке номер. Подшиты и пронумерованы многочисленные протоколы, схемы, куча справок, характеристик. С первого листа угрюмо смотрят запечатленные тюремным фотографом лица арестованных. Их четверо. Они обвиняются в совершении нескольких грабежей.

Преступники молодые. Они едва шагнули за порог совершеннолетия. И невольно хочется выйти за пределы папки и проследить пути, которыми пришли к преступлениям эти люди, пройти по закоулкам, где, словно тараканы за косяком, вызревали будущие обвиняемые.

Строители пользуются выражением «нулевой цикл». Этими словами они обозначают первоначальную стадию сооружения дома: рытье котлованов, закладку фундамента, подведение труб и т. п. Этот цикл – будущая основа здания. Тут даже незначительный промах может привести к непоправимой беде. Поэтому прочности фундамента строители уделяют особое внимание. Воспитание человека – та же закладка фундамента. К сожалению, тут сплошь и рядом мы сталкиваемся и с близорукостью, и с беспечностью. Сталкиваемся и с их последствиями.

1

Пыжиковую шапку взяли шутя. Мужчина вечером вышел в Первомайский сад подышать морозным воздухом и не успел раскрыть рта, как шапка пошла вперекидку от одного к другому, затем к третьему. А потом потерпевшему пригрозили, и он исчез.

Шапку продали недалеко от базара какой-то женщине за семь рублей, купили в «Утюжке» две бутылки перцовки и выпили в соседней закусочной. А после Пьеру встретила Нина, которую он не видел целых два дня. Потребовались деньги, чтобы сводить ее в ресторан.

И они опять пошли к Первомайскому. План был таков. Нина знакомится с обладателем приличного костюма, часов и кошелька, заходит с ним под арку или в подъезд, и тут появляются ребята...

Все шло, как было рассчитано.

Но в тот самый момент, когда парень, окруженный компанией Пьера, отбивался один от троих, а девушка стояла неподалеку, к подъезду, словно упавший с неба, подкатил газик, переполненный работниками милиции и дружинниками.

Дело в том, что владелец пыжиковой шапки не терял времени и, пока грабители сидели в закусочной, а потом шли назад к парку, привез сотрудников уголовного розыска и комсомольцев на место первого грабежа, оказавшегося по случайности и местом второго.

Все четверо были захвачены с поличным.

2

Отец Петра Костикова – художник, мать – инженер. Всего несколько лет назад в семье, по видимости, все обстояло благополучно. Петя был еще скромным и застенчивым мальчиком. Но мать тайком от сына часто плакала. Она видела, что муж перестал жить интересами семьи. Спустя непродолжительное время пришла разгадка. Анатолий Николаевич был увлечен другой женщиной. Амурные увлечения мужа испортили характер Веры Петровны. Семью стали раздирать ссоры, во время которых родители не заботились об изысканности выражений. Муж перешел жить в маленькую темную комнату, которая до этого использовалась под кладовку.

Как чужие, встречались теперь супруги на общей кухне, громыхая каждый своей кастрюлей. Скоро Анатолий Николаевич потребовал развода.

Спустя год он обосновался у своей новой жены, Беллы Викторовны. Петр остался жить с матерью.

Мы не можем достоверно сказать, почему отец через год стал настойчиво напоминать Пете о своем существовании: то ли потому, что затосковал по сыну, то ли потому, что предполагал включить еще одного человека в ордер на обещанную квартиру.

Сын, однако, не проявлял тяги к отцу.

Тогда Анатолий Николаевич стал ходить к Пете в школу, уводил его с уроков, шел с ним в кафе, в кино, давал деньги. Такая жизнь сыну пришлось по душе, и отец к концу учебного года добился в своих взаимоотношениях с Петей больших успехов.

Нельзя было сказать того же о школьных делах сына.

Он остался в восьмом классе на второй год.

Теперь жизнь у матери стала казаться Петру пресной, скучной, невыносимой. «С матерью я ссорился потому, что она не разрешала мне долго гулять, пить водку и дружить с плохими ребятами», – пишет он в своих показаниях.

Петр перешел жить к отцу.

Как же сложилась его жизнь в новой семье?

Уже через полгода Белла Викторовна не могла равнодушно видеть пасынка. Она перестала готовить ему пищу и стирать белье. Петра от семьи отделили.

«Чтобы не касаться мачехи, отец выделил мне отдельную комнату и давал по рублю в день. Летом, если я задерживался на улице дольше одиннадцати часов, мачеха меня не пускала домой, и я стал жить в сарае. Отец с ней ничего не мог сделать. Мачеха все убрала из моей комнаты; оставила кровать и стол. Она говорила, что это – все ее, а моего здесь нет ничего. Некоторое время я жил один в своей комнате, но потом отец, мачеха и ее сын Володька, мой ровесник, стали есть в моей комнате. Меня не приглашали...»

Нетрудно угадать чувства, которые испытывал Петр, видя перед собой полный стол с тортом, фруктами по случаю какого-либо семейного торжества. Лежа в постели, он обычно в эти минуты отворачивался к стене. Как-то он съел оставленный на столе винегрет. Белла Викторовна подняла скандал.

Когда отец отдыхал на курорте, сын писал ему: «Денег ты оставил мало. Вот посуди сам: даст мне Мария Михайловна, соседка, один рубль утром. Я иду завтракать, у меня уходит самое малое 30 копеек. Остается 70 копеек. В третьем часу я иду обедать, а обед, ты сам знаешь, стоит 70 копеек, и так у меня ничего не остается, а еще надо купить булок, а денет нет... Масло кончилось, денег на масло нет. Правда, сахар есть, но что им делать, чай пить не с чем...»

Целый день Петр был предоставлен самому себе, так как днем ничем не был занят, учиться Анатолий Николаевич устроил сына в вечернюю школу. Компанию Петр находил себе сам.

Однажды Петр подрался с сыном мачехи.

«Она заставила отца, – пишет Петр, – чтобы он выгнал меня из дома. И он сказал: “Иди к матери, там и живи”. Но матери не было тогда в Воронеже, она была в отпуске или командировке. И я пошел жить к другу...»

Вырытый под фундамент котлован ничем не заполнялся. Ни в семье, ни в школе. Но пустоты в природе не бывает. Вакуум удивительно быстро был заполнен. Друзьями Петра стали Виталий Самойлов и Геннадий Ключевский.

3

Виталий Самойлов жил один в большой квартире в центре города. Его отец, отставной военный, и мать, домашняя хозяйка, вместе с братишкой обосновались в поселке Краснолесный, близ станции Графская, на собственной даче, половину которой сдавали внаем. Чтобы не потерять в городе квартиру, они оставили в ней сына. Виталий в прошлом году по окончании десятилетки пытался поступить в институт, но знания оказались столь скудными, что после второго экзамена он забрал документы. С того времени Самойлов не работал и не учился, ожидая, когда отец подыщет ему место.

Плуг ржавеет от безделья.

Квартира Виталия стала местом сбора его многочисленных знакомых. Ящик из-под телевизора был полон порожних бутылок. Их спешно выносили сумками, когда мать или отец уведомляли Самойлова-младшего о своем предстоящем приезде на день-два. Окурки и пепел выметались, комнаты проветривались.

Петр Костиков, получивший от друзей более благозвучное имя Пьер, по этому случаю переселялся от Самойлова, у которого жил, в сарай ко второму своему товарищу, Геннадию Ключевскому, пареньку, работавшему на керамическом заводе. Геннадий был застенчивый юноша, полностью лишенный слуха, но хорошо говоривший. Кто видел его впервые, не мог поверить, что он не слышит. Геннадий свободно поддерживал разговор, лишь изредка прося собеседника повторить фразу. Он понимал говорившего по губам.

Кстати, в милиции в начале допроса не сразу поняли, что Ключевский глух.

Стыдясь своего физического недостатка, он сторонился людей и дорожил дружбой с Костиковым и Самойловым.

Геннадий, несмотря на возраст, считался одним из лучших токарей цеха и зарабатывал вдвое больше отца, весовщика железной дороги.

Вместе с Виталием и Пьером он ходил в общежитие девушек, на каток, в кино. И, несмотря на отвращение к спиртному, не отказывался от участия в выпивках.

Однажды друзья взяли его в ресторан, где просидели несколько часов. Когда наступил момент расплатиться, ребята подали официанту какую-то жалкую мелочь. Геннадию пришлось уплатить крупную сумму. Но и ее не хватило. И тогда Ключевский отдал официантке паспорт, а на следующий день попросил начальника цеха выдать ему аванс под зарплату «на покупку костюма», как он объяснил.

Этими деньгами он расплатился в ресторане.

Как-то Пьер принес на квартиру Самойлова книгу по гинекологии и пачку непристойных фотографий. Геннадий выбросил все это в мусорный ящик, за что друзья едва не исключили его из сообщества. Но главное, что тянуло его в компанию Пьера и Виталия, это Нина Клинцева. Она дружила с Пьером, но Геннадий оставался доволен и тем, что изредка видел ее, сидел с ней рядом, застенчиво перебрасывался с ней десятком пустых фраз. Он завидовал Пьеру.

Дом, где жила Клинцева, без преувеличения можно было назвать громадным. Здесь около двух тысяч жильцов. Во дворе играли дети и подростки.

Один из подъездов. Наверх ведет крутая лестница. Шагая по ступенькам, лейтенант непроизвольно думал, что ночами, после веселых пирушек, по этой лестнице не раз поднималась Нина Клинцева и что вот так же гулко отдавались в тишине ее неверные шаги.

Нина Клинцева училась в школе. Жили на скромный заработок матери, уборщицы детского дома, и на пенсию за погибшего на фронте отца.

Восьмой класс девочка закончила без троек. Преподаватели говорили, что она могла бы заниматься на круглые пятерки. Мать радовалась успехам дочери. Сколько мыслей и надежд связывала с ней усталая женщина!

Конечно, были и огорчения. Анне Семеновне стали говорить, что Нина выбрала себе подруг из числа самых худших и недисциплинированных воспитанниц детдома.

– Не искать же ей подруг на другом конце города. Кого знает, с тем и дружит, – отвечала мать.

Скоро дочку стали подозревать в краже мелких сумм у воспитателей. Мать с негодованием отвергла оскорбительные догадки. Ее заботам о дочери не было границ. Придя утомленной с работы, Анна Семеновна мыла посуду, убирала за дочерью постель, приводила в порядок ее одежду. А между тем Нине шел семнадцатый год.

– Мама, приготовь покушать.

– Мама, почему простыню не постирала? – только и слышалось в доме.

– Повзрослеет – поумнеет, – успокаивала себя мамаша и спешила выполнить каждое желание дочери.

А Нина? Нина стала уже покрикивать на Анну Семеновну. И не только на нее, но и на учителей в школе, на подруг.

Вскоре ей плохо стали даваться науки. Зато хорошо давались танцы. Джаз порастил ее в самое сердце. Перед трелями кларнета и грохотом тарелок поблекло все.

Литература показалась скучной, алгебра – сухой, география – ненужной. И важно ли, в самом деле, знать, танцуя вальс «Голубой Дунай», где протекает река с таким названием – в Австрии или в Новой Усмани?

Вижу в сумерках я-а-а
в платье белом тебя-а-а... —

напевала Нина, возвращаясь глубокой ночью домой. И никто: ни мать, ни школа – не видели, в какие «сумерки» попала Клинцова.

Первая четверть девятого класса завершилась твердыми двойками.

Перессорившись с учителями, Нина забрала личное дело и перешла в школу рабочей молодежи.

Однако просидеть более одного урока у нее не хватало сил. Как только близился роковой девятый час, время начала танцев во Дворце культуры, ее сердце было готово вырваться из груди, перед глазами начинали кружиться пары, в ушах жалобно звучали голоса влюбленных мексиканцев:

Бэ-са-мэз;
Бесаме му-у-ча...

На втором уроке Нины в классе обычно уже не было.

Скоро она совсем бросила учиться и, как Виталий Самойлов, собиралась определяться на работу, но пока днями сидела в неубранной комнате, непричесанная и неодетая, и крутила пластинки, изводившие соседей, а когда это занятие надоедало – вверяла свои мысли дневнику.

«Поссорилась с мамой. Она перестала со мной разговаривать. В субботу была на катке, а в воскресенье – на танцах. Желания грустные. Они вряд ли сбудутся.

Ну, какие еще новости? Да, два дня назад купила серый капрон со швом. Писк! Сшила серую юбку. А вчера у входа во Дворец встретила Пьера. Стоит такой грустный и интересный, как Печорин. Мы с ним побазарили, и как он на меня смотрел! Я дурачилась вовсю. Заставила его посмотреть швы на чулках. Ровно ли. А Генка Глухой тоже все время посматривал. Помоему, он тоже на меня “тянет”».

4

На руке Виталия Самойлова были часы, добытые при одном из прежних грабежей. В машине ему удалось незаметно снять их и, приподняв штанину, спустить в носок.

Когда всех четверых привезли в комнату дежурного при отделе милиции, их сразу разместили порознь. Самойлова посадили при входе, за барьер, рядом с каким-то стариком, задержанным за продажу кустарных тапочек.

Виталий, скосив глаза на дежурного, сунул соседу по скамье часы. Самойлов знал, что кустаря после составления акта держать не будут.

Через полчаса старика в милиции уже не было. Улика ушла вместе с ним.

Самойлов надеялся, что ему вменят в вину только одно последнее нападение. Но случилось то, чего он опасался. Глухой, а за ним и Пьер во всем признались. Глухой даже расплакался.

– Давайте бумагу, напишу все! Уже надоело ждать ареста. Лучше сидеть, чем ждать. Я знал, что так будет. Хорошо, что не дома взяли. Хоть соседи не видели.

И, всхлипывая, спрашивал, сколько ему дадут.

Костиков тоже был потрясен. Он никогда всерьез не предполагал, что конец может быть таким. Со дня на день он думал заняться делом, пойти на завод. При мысли о своих вечерних похождениях ему порой казалось, что все это произошло не с ним, а с кем-то другим, что все это не имеет к нему никакого отношения. Пьер был уверен, что все это уйдет в прошлое, забудется, как только он поступит на работу и обретет место в жизни, как только перестанет выпрашивать то у отца, то у матери полтинники на столовую и баню.

Он с ненавистью думал о Самойлове, приютившем его и предложившем пойти на «акцию смелых», с жалостью вспоминал голубей, оставленных в сарае мачехи, и ждал, что отец или мать узнают о том, что случилось с ним, и придут. Теперь он осознал весь ужас происшедшего.

Виталий Самойлов держался по-иному. На воле он знал парня, который сидел, и помнил из его рассказов, что самое лучшее – это молчать.

Несмотря на показания ребят, Виталий отрицал участие в предыдущих грабежах.

Именно поэтому на следующий день в числе двух случайных ребят его решили предъявить на опознание молодому человеку лет двадцати пяти с худеньким интеллигентным лицом, аспиранту вуза.

Сопоставив показания Глухого и Пьера с заявлением, поступившим от аспиранта недели две назад, оперуполномоченный уголовного розыска пришел к выводу, что аспирант был ограблен именно Самойловым и компанией: совпадали место нападения, внешность потерпевшего, название похищенных вещей.

Самойлова привезли из КПЗ, где он провел ночь, в милицию и посадили в отдельной комнате вместе с двумя ребятами, приглашенными на четверть часа с улицы. Сбоку, у стола оперуполномоченного, сидели двое понятых: один – шофер, другой – геолог, приехавший с Востока в длительный отпуск. Геолог пришел оформить прописку. Шофер оказался навеселе, но самую-самую малость. Оперуполномоченный послал милиционера пригласить вместо него другого понятого, а сам тем временем начал заполнять «шапку» протокола.

Водитель с жалостью разглядывал троих, и в особенности Самойлова, который выделялся убитым видом.

– Да-а, сюда только пап-пади, – глубокомысленно тянул шофер. – Вот я. Пришел права получать. А за что отобрали? Еду мимо топливного склада. А соседка увидела. «Ваня, подвези уголька». Нагрузил, а меня по дороге регулировщик... «Вашу путевку». А в ней записана щебенка. А я везу уголь. И все. «Ваши верительные грамоты». А за рулем я не пью. Это я сто грамм по случаю возврата прав. А тебя, парень, угощу. Приходи, когда выпустят. Нансена, 29.

И выпьем, и закусить найдется. Я такой. Я последнее отдам. Ты не убивайся. Все бывает. Вот я. – Сначала не знал, куда себя деть. А вот прошло. И права мне отдают. Ты приходи, я тебя угощу.

Вошла старуха с базарной сумкой в руках. Ей указали на свободный стул. Оперуполномоченный подумал удалить шофера, но тот сидел уже серьезный и молчаливый, и лейтенант мысленно махнул рукой: «Пусть сидит».

– Введите потерпевшего, – сказал он милиционеру.

Вошел щуплый юноша в легких очках без оправы и, беспомощно оглядываясь, остановился посередине комнаты.

– Садитесь вот сюда... Да вы не волнуйтесь. Теперь-то уж не из-за чего. Это не тогда, не ночью... Поглядите получше на этих троих. Нет ли среди них кого-нибудь из тех, кто нападал на вас?

Аспирант поднялся, подошел поближе к сидящим, повел по лицам близоруким взглядом.

На физиономиях двух ребят, приглашенных с улицы, читалось волнение. Самойлов, сидевший справа от них, смотрел вперед неестественно прямым взглядом.

Аспирант скользнул по лицам первых двух, остановился на нем. Юноша долго всматривался в черты Самойлова, потом пополз взором по его фигуре. Вдруг он уперся взглядом в щеголеватые узконосые туфли Виталия и не мог оторвать от них глаз.

– Будьте любезны, снимите, пожалуйста... Нет, вот этот.

Он показал на левый ботинок.

Самойлов носком правой ноги сдвинул задник, и туфель с глухим стуком упал на паркет. Аспирант, придерживая одной рукой очки, другой поднял его и, нащупав что-то пальцем, проговорил:

– Вот она, кнопка тут выскакивает... Возьмите, пожалуйста, – подал он туфель назад.

– Зачем же? – остановил его лейтенант. – Напротив, пусть снимет второй. А мы дадим ему что-нибудь старенькое, из казенного. Итак, насколько я понимаю, вы опознали гражданина Самойлова Виталия Семеновича?

– Да, да. Я хорошо его запомнил. Мы были лицом к лицу. Он обшаривал мои карманы. И бумажник забрал.

– А в чем вы пошли домой?

– Он мне бросил свои ботинки. Старые. Они у меня дома...

И тут экспансивная натура водителя дала о себе знать.

– Подожди, парень, да ты что же, человека ограбил? По морозу голого пустил? А? А я тебя в гости приглашал? Это я за что же полжизни отдал? Для кого же счастья добивался? Для тебя? Погляди-ка!

С треском сверху донизу скользнул замок застежки «молния» на теплой куртке. Задрав пиджак и рубаху, шофер обнажил бок и нижнюю часть грудной клетки, стянутые широкими багровыми рубцами.

– Мне восемнадцать было, когда меня на передовой крестили. А ты? Зачем ты нужен? Кто тебя выкормил?

Лейтенант не спешил остановить негодующего шофера. За эти минуты Самойлов испытывал такое омерзительное чувство стыда, при воспоминании о котором даже долгое время спустя кровь бросалась ему в лицо.

Он больше не запирался. Рассказал все. Не скрыл и того, что передал старику, сидевшему с ним в комнате дежурного, наручные часы.

Адрес и фамилию старика установили из акта, составленного накануне вечером. Скоро его вместе с часами привезли в райотдел.

На следующий день в милицию по телефону вызвали мать Самойлова, Наталью Поликарповну.

Это была яркая, интересная женщина, одетая с большим вкусом. Она принесла тяжелый саквояж с продуктами и туфли для сына, по-видимому, купленные только что в магазине. Ее ознакомили с показаниями сына. Когда она перевернула последнюю страницу, лицо ее сделалось красным от гнева. Наталья Поликарповна порывисто взяла со стола ручку и, пока оперуполномоченный копался в бумагах, лежавших в папке, написала на протоколе допроса:

«Уже двенадцатый час, а Виталий не ел. Я видела, с какой жадностью он набросился на пищу, принесенную мною. У него отвислая челюсть и безумный взгляд. Он не стал говорить со мной. Эти показания – вынужденные. Н. Самойлова».

Негодующий оперуполномоченный, схватив протокол, воскликнул:

– Да вы же испортили документ!

Щеки женщины горели.

– Не верю вашему следствию. Я требую, чтобы его допросили при мне. Слышите, требую! Моему сыну не нужны старые часы с оборванным ремешком. У него свои. Я этого так не оставляю.

Беседа состоялась через день. Виталия допрашивали в присутствии матери, хотя этого и не требовалось по закону.

Слушая рассказ сына, не глядевшего на мать, оперуполномоченный не скрывал удовлетворения откровенностью парня. Наталья Поликарповна становилась то бледной, то пунцовой. Когда сын повествовал о том, как они от театра угнали чей-то «москвич» и, катаясь, разбили его, потому что ни один из троих не умел по-настоящему им управлять, мать вспыхнула.

– А зачем тебе все это рассказывать? Этого же нет в твоих показаниях. Ты же знаешь, сколько нам теперь придется платить. Кто вас видел?

Лейтенант вскочил с места.

– Уйдите! Слышите? И больше не приходите.

Два дня Наталья Поликарповна не ходила в милицию. Но, узнав, что дело для окончания расследования передали в прокуратуру, пришла ко мне. В ее руках был тяжелый саквояж с едой.

В кабинете друг против друга сидели на очной ставке Виталий Самойлов и Геннадий Ключевский. Я уточнял подробности, касавшиеся Нины Клинцовой. Девушку еще в первый вечер освободили, взяв с нее подписку о невыезде из города. Ребята подтвердили, что последний грабеж был единственным, в котором Клинцова участвовала. По их словам, Клинцова пошла с ними с большой неохотой.

Я разрешил конвоиру взять от Самойловой передачу.

Наталья Поликарповна поставила саквояж на пол, рядом со стулом сына. Виталий, нагнувшись, взял несколько свертков.

– А это отдай Генке, – попросил он. – У него нет ничего.

Глаза матери округлились.

– Что-о? Всякую шпану кормить? Хорошо еще тебе ношу. Ты знаешь, во что это обходится? Это все с неба не падает.

Я не ожидал, что Виталий окажется таким несдержанным. Он вскочил с места, губы его кривились.

– Ты, ты!.. Всего тебе мало! К черту!

Он отшвырнул ногой саквояж с передачей.

– Не ходи больше, не буду брать!

Когда мамашу выдворили из кабинета, парень дрожащими руками разделил с Глухим пачку сигарет и произнес:

– Везите в тюрьму. Без передач обойдусь. Отработаем. Не век сидеть будем. Поумнеем.

Следствие в прокуратуре закончилось довольно скоро. Родителям было разрешено свидание с арестованными.

Первым пришел отец Геннадия, сгорбленный крупный мужчина, придавленный тяжестью дум. Ему показали место напротив сына. Геннадий не решался взглянуть на него. Не дождавшись, когда сын поднимет голову, отец тронул его за плечо.

– Смотри сюда.

Юноша старался не пропустить ни одного движения губ.

– Не на-бе-решь-ся ума – не при-ез-жай! Понял?.. Ну, давай, что ли, попрашаем.

Анатолий Николаевич Костиков явился раньше назначенного времени. От него исходил тонкий аромат вина. Гордым жестом он извлек из кармана печатный каталог своих картин и этюдов, желая подчеркнуть, что он не обычный смертный, а работник творческой профессии. Я вернул ему книжечку.

– Почему вы предложили сыну покинуть дом?

– Мы отправили его к матери. Он дерзил не только мачехе, но и мне. А пасынка избил так, что у него целую неделю был запухший глаз.

– Вы знали, что мать была в командировке на Урале?

– Он мне об этом не сказал.

– А разве вы потом не интересовались судьбой сына?

– М-м-м... Знаете, все занят. Выставка тут моя была.

Для беседы с Петром художника попросили прийти в другой раз. Трезвым.

Тягостное впечатление оставила вторая встреча Виталия Самойлова и его матери. (Отец Виталия не мог прийти, потому что лежал в госпитале с открывшейся раной.)

Наталья Поликарповна долго допекала юношу назиданиями. Я боялся, что она вновь станет уговаривать сына изменить показания и что Виталий может не устоять перед ее домогательствами. С облегчением я услышал, что ее поучения иссякают.

– Смотри, сынок. Исправляйся. Не огорчай маму.

«Дорогая мамаша, – хотелось сказать ей вслед. – Если сеете сорняки, не рассчитывайте на урожай злаков. У вас растет второй сын. Помните о фундаменте. Помните о “нулевом цикле”».

ТРИДЦАТЬ СТРАНИЦ ДНЕВНИКА

Александр Марков считал, что подготовка была безукоризненной. Сведения о старухе они получили из первых рук. Ее племянник Иван Евлахов, недавно освободившийся из заключения, захлебываясь, рассказывал, что, придя однажды к бабке, он не мог долго достучаться и заглянул в окно, поверх занавески. На теплой, в меру остуженной плите бабка просушивала полмешка денег. Заслышав стук, она поспешно ссыпала их в мешок.

Дом старухи располагался вблизи рынка-толкучки. Бабка с дедом много лет шили на продажу кустарные шапки. Работали они ночами, завесив окно одеялом.

Если все сойдет хорошо, то у нее можно будет «позаимствовать» не одну тысячу. Быстрота – залог успеха. Марков знал об этом из переводных романов. Особенно он ценил один: «Западная марка продолжает падать». Книгу они читали вместе с Михаилом Козловским, недавним другом Маркова. Шагая вечером по широкой Ленинградской, они часто напоминали друг другу наиболее захватывающие места. Марков знал их наизусть.

Теперь они мчались в голубой «Волге» на окраину города, где была нужная улица. Марков сидел рядом с шофером такси, сжимая в кармане влажную ручку пистолета. «Капитан Флинт боится только призраков», – подсказывала ему память фразу, не то вычитанную из какой-то книги, не то выдуманную самим. Но чувство волнующей приподнятости, которым он был охвачен в минуты обдумывания замысла, теперь исчезло.

За стеклом машины мелькали не выдуманные, а реальные витрины, киоски, здания, люди, предстояло преодолеть не вымышленную, а реальную опасность. И невозможно было заранее сказать, чем все это кончится. Будь Марков один, он вышел бы из машины на полдороге и трамваем проделал бы обратный путь. Но за спиной сидел Козловский, которому час назад Марков расписывал во всех подробностях план нападения. И поэтому Александр молчал.

Такси мчалось вперед.

Почти все произошло именно так, как Марков и Козловский рассчитывали. Старуха оказалась одна. Ее оглушили ударом рукоятки пистолета и сбросили в погреб. Но дальше их ждало разочарование. Обшарив все щели, ящики и шкафы, они нашли только две измятые рублевые купюры. Денег в доме не было.

В тот день, когда Ивану Евлахову передали просьбу Маркова и Козловского прийти вечером к зданию Дворца культуры, он понял, зачем его зовут.

Он расщепил чернильный карандаш, наскоблил с оголенного стержня кучку порошка, развел чернила.

«Мама, – написал он. – Если я не возвращусь, в моей смерти виновны Александр Марков и Михаил Козловский. Адреса их знает Коля Егоров. Целую тебя, мама, крепко-крепко. Ваня». Он вложил записку в паспорт и сунул его в ящик стола.

В комнате дежурного не умолкал телефон. Сегодня он снова принес весть: ограбили магазин на Бессарабской. Преступников было двое. Оба в масках. Пока один стоял с пистолетом около перепуганных насмерть покупателей, другой обшаривал ящики прилавка. Захватив выручку, преступники скрылись. Подобного не помнили уже три года.

– Как в дурном детективе, – невесело говорил начальник уголовного розыска, сухой, подвижный мужчина. Он сердито вышиб из мундштука окурок сигареты.

Через месяц случай повторился в другом магазине. На этот раз при нападении был серьезно ранен продавец.

Грабили небольшие, удаленные от центра города магазины.

Продрогшие и злые возвращались по утрам после безрезультатных засад оперуполномоченные и дружинники. Шагая гулками пустынными улицами, каждый из них мучительно думал: «Кто они? Какие? Молодые или старые? Новички или матерые?»

Склонялись к мысли, что орудуют рецидивисты.
Но Марков и Козловский не были рецидивистами.

Марков окончил среднюю школу и учился на подготовительных курсах в строительный институт, а Козловский состоял студентом-заочником факультета журналистики университета.

Марков жил в переулке, где, как сказано в его дневнике, «нет фонарей, шумят тополя и целуются пары на скамейках».

Его отец был инженер-строитель, мать работала в продовольственном магазине.

Об отце Александр в дневнике писал: «Милый отец, ты уже стар. Никогда ты не мог разговаривать властным тоном. Не потому ли ты не стал ну хотя бы начальником СМУ, а работаешь тридцать лет инженером? Никогда ты не носил, насколько я помню, дорогих костюмов. Еще бы, ведь у тебя нас четверо. Мы любили слушать твои рассказы о том, как ты учился в институте в 30-е годы, как вы жили еще до Первой мировой. Ты помнишь смерть Ленина – времена для нас совсем далекие. Конечно, ты иногда бил нас, не без этого, но быстро отходил, и мы прощали тебе порку...»

Александр рос как все: упивался книгами, восхищался подвигами героев, мечтал о дальних странствиях. Страницы его дневника пестрели изображениями скрещенных стрел и сабель, парусов, наполненных ветром. Пират капитан Флинт и отважный Спартак были в его глазах одинаково необычайными и героическими. Пора любви и грусти нежной наполнила его душу свежими неизведанными чувствами, и он исписывал целые тетради неумелыми стихами о голубых глазах, сиреневом закате и чарах луны. Он зашифровывал записи дневника о первых встречах и мальчишеских поцелуях нехитрой тайнописью и ходил целый день, веселый и шальной, в ожидании вечера, обещавшего ему новую встречу.

Когда семья жила на строительстве атомной электростанции, он вынужден был учиться в вечерней школе: первые месяцы на стройке не было дневных классов. Стал учеником слесаря.

Но, вступив в настоящую жизнь, Александр продолжал жить вымышленной. Скоро он разглядел вокруг себя то, что, как строительный мусор, лежало на поверхности. Он увидел, что иные с получки пьют, что в компании подчас рассказывают неприличные анекдоты, что многие знакомые курят.

Не без ущерба для школьных принципов и родительских заповедей он с головой окунулся в это.

«1 декабря. В воскресенье был пьян. Ничего не помню. Сегодня сдавал литературу. Пил все время с Валеркой.

6 декабря. Вечером ходили на танцы. Выпили по бутылке “Волжского” на брата».

Так проходили вечера, заполненные бутылкой красного перед танцами.

Семья переехала в город. Александр переменил место работы и школу, но жизнь его оставалась прежней, с той лишь разницей, что перед ним были открыты двери не одного клуба, а многочисленных парков и дворцов.

Завязал знакомство с несколькими развязными девицами.

Скоро в дневнике появилась стихотворная запись:

Я теперь в любовь не верую,
О ней говорю с усмешкой,
И даже любовь свою первую
Вспоминаю с гадкой насмешкой.

Слова не были позой.

Александр начал посещать секцию бокса. Через полгода он раздался в плечах и уже не походил на юнца. Дневник вести продолжал. Исписал две клеенчатые тетради стихами под Есенина об увядших цветах и отзвеневшей юности, которая тем временем только начиналась.

Когда по вечерам над городом зажигались огни, Александр встречался с друзьями у входа в парк.

– Итак, джентльмены, скинемся?

– О чем речь, – отвечал хор голосов.

Они откомандировывали одного из компании в ближайший гастроном. Посланный вскоре возвращался с бутылками. Подходили к киоску «Газводы», где можно было добыть стакан. Александр вступал в переговоры с продавщицей. Непреклонная женщина меняла гнев на милость, как только ей обещали порожнюю посуду.

«Среда. Сегодня развлекались: в садике устроили охоту на кота. Как только потомок тигров был замечен, Джон и Кукуй, ломая кусты, с гиканьем взяли его в клещи, а Толик схватил за хвост и зашвырнул в публику. Все, конечно, врассыпную.

Воскресенье. Подошли ребята. Генка начинает:

– Ну что, ты в парке был смелее, а сейчас притих? Смирненький?

– Какой есть. – Нащупал финку, но молчу. Постоял около них немного.

– Пока. – Пошел домой. Думал, что начнут. Особенно хотелось полоснуть Митрошку.

Понедельник. Было скучно. Зашли в барак. Свистнули примус. А на черта он нам? Бросили по дороге.

Четверг. Пошли вечером на Ленинградскую. Одному чуть не дали, но Гусь узнал его – какой-то Витька с Монастырки. Потом ходили по парку, пугали парочки. Перевернули уборную. Грохоту было на всю улицу. А вообще – скука. Ребята – недоросли. И все глупо».

Так шли дни. Выпивка, танцы. Драка. Снова выпивка. Поцелуи в подъезде. Иногда писал стихи. Больше про туманы, закаты, лунные ночи. Иногда мечтал. В мечтах готовил себя для необычайного, чистого, выдающегося. Посмеивался над собой, полагая, что компанию джонов и кукуев он сможет покинуть в любую минуту, что он духовно богаче их и что их привычки и склонности к нему не прирастут.

«3 августа. Давно не писал. Отсидел пять суток за драку. На работе даже не спросили, где был. Сказал, что болел, и обещал сдать больничный лист. Вот бы сдать им бумагу судьи – рты бы разинули.

Понедельник. Пришел Саша с друзьями. Пошли ко мне. Бычок принес спирту. Выпили. Васька свалился. Король с Кукуем пошли воровать на мясокомбинат. Я с ними не пошел».

Пока не пошел, но пил с ними, сидел рядом, слушал хвастливые рассказы об удачных ночных набегах.

«Суббота. Дни однообразны. Скука. Родители гонят в институт, а у меня другое в мыслях. Хотел поступить в учебный комбинат на слесаря-сантехника. Пять месяцев учебы – и посылают в Сибирь. Когда заикнулся об этом, дома такой шум поднялся – хоть убегай. А может, они и правы? Может, “больше денег и теплее угол” не так уж плохо? Может, остальное – только звон? Во всяком случае, без денег ни здесь, ни в Сибири не светит. А сейчас они бы были кстати. “Колов” тридцать. Много задолжал».

По-прежнему шли дни, похожие один на другой. Александр уже не находил, что компания джонов и кукуев плоха. Возвращаясь навеселе домой, он пел, перебирая струны гитары:

Цыганка с картами,
Дорога дальняя...

Прежние помыслы найти себя казались плоскими.

«28-е. Среда. Видел Володьку Черного. Он говорил, что грабит пьяных. Это он называл ловлей карасей. Берут только деньги. Интересно!»

Скоро судьба свела Маркова с Михаилом Козловским. По возвращении из армии Козловский работал на шинном заводе машинистом электрокара. Михаил тяжело привыкал к граж-

данской жизни, где не было старшины, который кормил бы его, обувал и одевал. Козловский был натурой переменчивой. На протяжении одной минуты его настроение могло меняться от слащавой сентиментальности до необузданной жестокости. Вспышке такой чувствительности был обязан своим спасением Иван Евлахов, вызванный друзьями для объяснений после неудачного нападения. Мир тускнел или загорался в глазах Козловского по мере истощения или пополнения денежных запасов. Стихи он писал либо торжественные, либо мрачно-безнадежные, впрочем, в обоих случаях одинаково малограмотные. В лице Козловского Александр нашел себе удачного напарника.

«Суббота. Сажу за столиком в кафе, пью коньяк и нахожусь в слегка розовом настроении. На улице дождь. Я сажу близко к окну и вижу, как ползут по стеклу холодные капли. Через столик сидит молодая девушка. Она такая красивая. Я пригласил ее за свой столик. “У вас такое красивое имя – Нелли, меня зовут Флинт, капитан Флинт. Флинт боится только призраков”. После второй рюмки мы сидим с ней и мирно разговариваем. Закуривая сигарету, я оглядываю кафе. Удобный момент для ограбления. Я стряхиваю эти мысли с пеплом сигареты в пепельницу, но, словно из тумана, выплывает картина... Я первым открываю дверь. Мы быстро входим в магазин. “Руки вверх!” – говорю. Я вижу глаза Мишки из-под черной маски. Поздний покупатель застывает с рукой, протянутой за сигаретами. “Извините, Нелли, я вспомнил кое-что...”»

В январе тайно от родителей Александр завербовался на Дальний Восток. Позади остались и Михаил Козловский, и многочисленные знакомые, о судьбе которых нам известно лишь то, что сказал о них Марков в дневнике. Но поехал он туда уже не тем, каким был когда-то. То, что он считал временным и наносным, стало постоянным и привычным.

«Живем с другом на квартире в километре от Японского моря. Оно совершенно зеленого цвета с добавлением синего. Сам поселок на сопках, и кругом горы, тайга, дубняк, кустарник. Живу, как пан: одни штаны, одна рубашка и одна старая куртка. Все продал в дороге на “Рябиновую”: часы, пиджак и остальное».

Следователь мыслит урывками: по дороге, в бане, в кино, иногда в кабинете. Наиболее плодотворные мысли приходят утром, когда он бреется, завязывает ботинки или ведет сына в детский сад.

Мысль о том, что дом старухи указал грабителям ее племянник Иван Евлахов, явилась капитану Колядину не сразу. Она зрела постепенно и превратилась в уверенность после того, как из спецотдела поступила справка о прежней судимости Евлахова. Меры были внезапными и энергичными...

Однажды, когда ярко светило солнце и волны набегали на берег, Марков услышал, что его зовут. Он поднял голову от кучи гравия, которую разгребал лопатой, и увидел перед собой местного участкового. Тот спрашивал насчет паспорта. Паспорт Марков в прошлое воскресенье разорвал пополам во время пьяной ссоры. Александр сказал, что паспорт не имеет нужного вида. Участковый пригласил его с собой. Марков лениво поплелся за блюстителем порядка. Он не видел, что поодаль за ними неотступно следует скучающий мужчина в сером костюме. Когда Александр с милиционером прошли в отделение, этот мужчина вслед за ними вошел в комнату и попросил участкового оставить их одних. Он неторопливо взял стул, поставил его рядом со стулом Маркова и, опустившись, произнес:

– Познакомимся. Капитан Колядин из Воронежа.

Шестимесячный труд капитана завершился.

Александр тупо глядел на кучу бумаг, лежавших на столе. Среди них он видел небрежно брошенную маску из черного сатина. Когда Марков уезжал, маска оставалась в кармане старого пиджака. Он забыл ее выбросить...

В ожидании этапа Марков днями лежал на нарах. Со второго яруса в окно были видны белые сопки, кусок города, зеленое Японское море. Сверху он видел улицу. Море сегодня было

бурным, словно в романе, прочитанном год назад. Маркову казалось, что с того времени прошел не год, а десять лет. Море, которое он видел когда-то в мечтах, теперь шумело за стеной. Но оно было более далеким, чем прежде. Мираж романтики кончился. Только теперь Марков вдруг понял, кем он стал.

ОСИНОВАЯ ЗЕЛЕНЬ

Был знойный летний день. Голубев поставил самосвал под окнами чайной, на полпути от кирпичного завода к стройке, и решил, не торопясь, пообедать. Кирпич был продан удачно. Покупатель, толстяк в военном, как видно, из отставных, оказался на редкость покладистым. Он даже не спросил, откуда кирпич.

Шофер занял место за столиком, откинулся на спинку стула, вытянул ноги. Ему надоела вечная спешка. «Только поддайся. Из этой лямки и на ночь выпрягать не будут». Голубев был шофер по призванию. Пять лет он работал на стройке подсобным рабочим, но не было дня, чтобы в мечтах он не видел себя за баранкой. Много раз предлагали ему идти на курсы повышения квалификации. Он мог стать каменщиком или штукатуром, лепщиком или плотником, но, к удивлению мастера и прораба, он наотрез отказывался пойти на курсы. Никто на стройке не знал, что вот уже год как Голубев страницу за страницей одолевал книгу «Устройство автомобиля».

В следующем году он четырежды держал экзамены в автоинспекции и четыре раза проваливался. Огромного мужчину со сплюснутым носом и вывернутыми ноздрями запомнили все экзаменаторы. Его могучая фигура в кургузом пиджачке с узкими, короткими рукавами высилась в коридоре среди остальных курсантов, словно двадцатипятилитровый МАЗ среди трехтонок. Шутники уверяли, что он и в пятый раз провалится, но в пятый раз он не провалился. То ли билет попался ему счастливый, то ли инструктору пришлось по душе, как уверенно и похозяйски он управлялся на практической езде с большим ЗИЛом. Так или иначе, но Голубев получил удостоверение водителя. Его мечта осуществилась.

В автохозяйстве его заметили с первых же дней. Его машина всегда была исправна и вымыта. Он не ожидал, пока механик предложит слесарям поставить деталь, требующую замены. Он сам шел на склад и сам ставил деталь на машину. Если на складе нужной запасной части не было, он покупал ее на руках. Он считал, что только при машине может стать человеком. Через полгода работы в автохозяйстве Голубев выхлопотал себе участок под застройку. Директор и председатель профкома ходатайствовали за него в коммунотделе как за лучшего производственника.

С того времени не проходило дня, чтобы Голубев не сваливал на участке то машину бутового камня, то кучу щебня, то сотню кирпичей. Все приходилось делать в одни руки. Жена наотрез отказалась принимать участие в стройке. Она заявила, что ее устраивает казенная квартира и что ни здоровья, ни времени для стройки у нее нет. Денег, как правило, до зарплаты едва хватало. Жена была бесхозяйственна. Она покупала книги, ходила в кино и на концерты, таская за собой и мужа. Раз в неделю она пела в самодеятельности, и Голубеву приходилось ужинать в столовой. Она окончила десятилетку и мечтала поступить в строительный институт. Имея специальность штукатура, она и часа не хотела уделить приработку на стороне. Она всегда куда-то спешила, и в комнате стоял постоянный кавардак. Чтобы сохранить душевный покой, Голубев старался не ссориться с нею, но терпению пришел конец. Через полгода они расстались.

Вскоре Голубев снова женился. Вторую жену Голубев считал находкой, хотя была она некрасива и неразумно скупа. Она могла днями пилить мужа за пять рублей, израсходованных на угощение нужного человека. По утрам совала мужу в карман завтрак и на полдня расстраивалась, если муж просил на папиросы. Зато работа горела у нее в руках. Чтобы сэкономить на найме подсобных рабочих, она сама таскала раствор, кирпичи, мусор, доски и в конце концов надорвалась, пожелтела, но с участка не уходила.

Сначала построили одну комнату. Потом два года достраивали три остальных. Теперь у Голубева уже были налажены деловые связи. Если возникала нужда в кирпиче, он просил

диспетчера занарядить его машину на силикатный завод. На строительных объектах кирпич поштучно не просчитывался, и от семи-восьми рейсов, ничем не рискуя, Голубев выгадывал машину кирпича. Таким же путем добывались раствор, половые доски, гвозди, толь. Когда дом наконец был отстроен, Голубев с удивлением увидел, что ему в нем нет места: жена заселила дом квартирантами. В одной из комнат девушки-проводницы спали даже по двое на кровати. Пришлось крупно поговорить с женою, прежде чем она освободила одну комнату...

Молоденькая официантка подала румяный, с корочкой, рамштекс и жигулевское пиво. Голубев выпил бутылку и попросил другую. Запивая жареную говядину пивом, он думал, что тридцать целковых и магарыч за машину кирпича – совсем неплохо. А кирпича на стройке хватит. Больше в щебенку быют. Голубев осушил стакан и налил еще. Закуска и жигулевское подняли настроение. Мысли незаметно сосредоточились вокруг заветной мечты, вокруг покупки собственной машины. На «москвича» денег хватало уже сейчас. Но разве это машина? А на «Волгу» предстояло поработать. Летом Голубев купил новый земельный участок, не через коммунхоз, конечно, а у маломощного застройщика и стал строить второй дом. Участок был расположен у Шиловского леса, на новой улице, Тушинской. Бутовый камень, раствор, кирпич, которые он между делом завозил туда, становились вдесятеро дороже, как только ложились в стены. За стройкой наблюдал свояк. Уже сейчас, если бы Голубев решил продать коробку, он получил бы не менее четырех тысяч. Первый этаж, правда, был низковат. Дом располагался на склоне. Зато второй был превосходен.

Но Голубев не спешил с продажей. Теперь, когда стояли стены, главные трудности оставались позади. Раствор не был проблемой, с пьяницей-прорабом Голубев жил душа в душу; оштукатурят они со свояком сами. Главное – полы и кровля. На них потребуются деньги. И немалые. Брать из отложенных не хотелось. Да и жена не даст. А продавать по машине кирпича или раствора в неделю – пройдет летний сезон. А зимой не стройка. Неужели сорвется? Он даже занес кулак, чтобы стукнуть от досады по столу, но молоденькая официантка окинула его строгим взглядом, и Голубев опустил руку.

– Порядок, девочка, сколько с меня?

Через несколько минут самосвал мчался по дороге в сторону кирпичного завода. За ним, словно привязанный, тянулся хвост пыли.

Неожиданно за поворотом шофер увидел пешехода с поднятой рукой. Голубев до боли стиснул баранку и впился глазами в фигуру человека. Пешеход был с красной повязкой, наверное, дружинник или внештатный автоинспектор.

Первой мыслью было развернуть машину и на четвертой скорости мчаться на объект к прорабу, чтобы подписать накладную. Это следовало сделать раньше. Но теперь об этом поздно думать. Вдруг явилась мысль: «А если у него на уме совсем другое, а я ему с перепугу задний борт покажу? Что тогда? Черкнет номерочек в книжку – мол, неспроста бежит – и будь здоров, потом доказывай...»

Жалобно скрипнули тормоза. Самосвал резко остановился, поравнявшись с парнем. Голубев окинул острым взглядом некрупную фигуру дружинника. «Если что, – мелькнуло в голове, – такого сморчка одним пальцем можно с подножки спихнуть».

Голубев высунулся из кабины.

– Что, брат, подкинуть?

– Нет, гражданин, вам сейчас придется ехать со мной...

Голубев поставил ногу на газ.

– У заставы сбили пешехода, записан ваш номер.

– А серия? – радостно спросил Голубев, успев за эту минуту умереть и воскреснуть.

– К сожалению, пока неизвестно, – ответил дружинник.

Шофер вздохнул свободной грудью. Его слегка вывернутые ноздри шумно выпустили воздух.

– Да я, голуба душа, с утра еще в городе не был. А для дела я всегда готов, – весело проговорил он. – Одну минуточку, товарищ, вытру сиденье. На стройке работаю... Пыль.

Он провел два-три раза тряпкой по обивке сиденья.

– Пожалуйста.

Дружинник занял место в кабине, и машина повернула в город.

– А кого же сбили, если не секрет? – спросил Голубев.

– Женщину.

– И сильно помяли?

– Да.

К шоферу вернулось хорошее настроение. Он шутил со своим пассажиром, даже начал рассказывать ему забавные истории, происшедшие с ним на уборке хлеба в прошлом году. Через полчаса машина стояла против здания милиции.

Голубева провели в дежурную комнату. Предложили зайти за барьер.

Появился лейтенант.

– Голубев?

– Так точно.

– Предъявите накладную на кирпич.

– Что-о? Я же по аварии...

Лейтенант усмехнулся.

– В городе все живы. Аварий не было.

Голубев понял, что его обманули.

Задержанного обыскали. Из кармана вместе с накладной и тремя новыми десятирублевками извлекли грязную, захватанную руками записную книжку. На одном из листков лейтенант прочитал: «Осиновая зелень». Он поднял на задержанного удивленный взгляд. Голубев промолчал.

Дело поступило в прокуратуру. Мы сидели с Голубевым в комнате для допросов. Он знакомился с материалами следствия. В кабинете стояла глубокая тишина. Свет попадал сюда, отражаясь от стены соседнего корпуса. Тихо шелестели страницы. Где-то вдали закричал паровоз. Там была жизнь. Устав от долгого чтения, Голубев выпрямился. Закурил.

Соскучившись по собеседнику, он начал рассказывать о себе. О знакомых. О разном.

– А помните, в записной книжке строку: «Осиновая зелень»? Так это название цвета. Когда я был в Москве, зашел на американскую выставку. Книжечку мне там дали, «проспект» называется, а на ней, как птицы, машины и под каждым рисунком пояснение на русском языке: во сколько сил мотор, какие тормоза, в какой цвет окрашена. Записал я. Думаю: «Если жив буду, непременно скоплю на такую». Скопил.

Он усмехнулся.

– Весной решил – хватит. Так ведь под ногами лежит: приедешь ночью на объект, хозяина не найдешь. Вытащишь из будки старуху. Глаза у нее, как у морского окуня, какой три дня на прилавке лежал, посоловелые. «Кирпич, – кричишь, – принимай». Махнет рукой: туда, мол, на тот конец вези. И в будку. А сколько я свалил, машину или половину, никому не нужно. Потом накладную подписывать: надевает очки – за одно ухо оглобелку, за другое – нитку, держишь ей пальцем, где расписываться, и ждешь, пока она крючки выводит. А за что расписалась, она и сама не знает... Да и прораб – пьяница... – Он смолк, боясь сказать лишнее, подтянул к себе папку и стал читать...

В середине дня он осилил бумаги и задумчиво курил, поставив большие подошвы на перекладину табурета, привинченного к полу.

– А знаете, я все думаю о первой жене. Пришла все-таки. И передачу принесла. Знаю, на последние. Не бывает у нее денег. Хоть и некрасивый, а уважала меня. «Тебе бы подучиться, – говорит, – автоколонной бы заворачивал. Машину больше меня любишь».

Я глядел на пачку уцененных сигарет, принесенных Голубеву его второй женой. Он понимал, о чем я думаю.

– Подмоченные выбирала, по восемь копеек, – проговорил он мрачно. Раздавив окуроч в пластмассовой пепельнице, прикрученной к столу шурупами, он сказал:

– Покоя лишился. Лучше бы не приходила.

Мы долго молчали. Вошел суровый, неразговорчивый надзиратель и вывел Голубева. По длинному гулкому коридору еще долго гроыхали шаги, одни строгие и четкие, другие грузные и медленные, словно мысли того, кому они принадлежали. Скоро шаги погасли за многочисленными дверями и поворотами.

Осталась уверенность, что Голубев додумает все до конца.

НОЧЬЮ

Татьяна Клюева звала своего напарника Акрихином. Она была уверена, что ядовитый старик послан ей Господом в наказание. Безбожный сторож, зная, что Татьяна – верующая, терзал ее вопросами, на которые Клюева не находила ответа. Астрединов разбирался в Священном Писании лучше Татьяны. Недаром до революции он обучался в школе Закону Божию. Словно иглы, вонзал в ее душу богохульные вопросы.

Несколько дней назад он, например, спрашивал, сворачивая желтыми пальцами сигарку и обнажая в улыбке немногочисленные гнилые зубы:

– Значит, «Бог создал все». – Акрихин повел рукою с прокуренными пальцами вокруг себя. – И не в один присест, а спрохвала. Помнишь: «Земля была темна и пуста, и тьма над бездною, и дух Божий носился над водою. «Да будет свет, – сказал Господь, – и стал свет». А до этого Бог, стало быть, все прошедшие века в потемках сидел? Как же это получается, Татьяна?

Глядя с усмешкой на растерявшуюся Татьяну, он поднялся с лавочки, закинул ружье на плечо.

– Можешь не ломать голову. Все равно ничего не придумаешь. За этот вопрос батюшка на уроке Закона Божия так меня линейкой треснул, что я всю жизнь помню. Духовную семинарию кончил поп, а ничего лучшего не придумал.

Щуря выцветшие глазки, старик радостно засмеялся.

– Тебе вот говорят, что кит проглотил Иону, и ты веришь. А сказали бы, что Иона проглотил кита, ты бы тоже поверила. А зачем же у тебя голова на плечах? Бросила бы ты эти сказки, голуба душа, да пробивала бы дорогу, пока молодая, не отиралась бы в сторожках. Специальности бы добивалась. А сторожить и стариков хватит. Вот что я тебе скажу. Ты вот все плачешься: нет правды, обман везде, мужики – негодяи. А какой путевый уборщицу или сторожиху сейчас замуж возьмет? Забудыга какой-нибудь. А с забудыги какой спрос? У меня вон у самого сын такой. Каждый день с женой бои. Не чаю, когда свою квартиру получают. Они на отработку ходят. Глаза бы не видели. Вот оно что. – Акрихин погасил окурок, аккуратно затоптал.

– Ну, ладно, пойду. Погляжу, что там. А то доски вечером сгрузили.

Сгорбившись, Астрединов зашагал в сторону освещенных электрическими лампами кирпичных коробок, которые возвышались позади складов.

Слова старика оставались в сердце Татьяны, как занозы.

До двадцати двух лет Клюеву не привлекала религия. Она без оглядки отдавалась радостям жизни.

Но скоро наступило отрезвление.

Мужчина, с которым она сожительствовала, оказался женатым. Он возвратился к семье, оставив ее с грудным ребенком. Она умолила соседку присматривать за малышом, платила ей третью часть своего небольшого заработка, сама перебивалась с картофеля на хлеб, пока не определила сынишку в круглосуточные детские ясли.

Только спустя два года Татьяна вспомнила, что еще не стара.

Ее квартиру стали посещать мужчины. Один из них скоро остался у Татьяны жить.

Женщина надеялась, что он в конце концов оформит их отношения. Но сожитель внезапно завербовался на рыбные промыслы как раз в то самое время, когда Татьяна ждала ребенка. Первое время он писал ей и высылал деньги, а потом бесследно пропал. Может быть, женился.

Клюева осталась одна с двумя детьми: с трехлетним, который уже ходил в детский сад, и с грудным.

В цехе ей старались помочь: освободили от платы за детский сад и ясли, купили младшему приданое, а старшему – одежду, дали просторную комнату, несколько раз в году выделяли денежную помощь, предложили место ученицы токаря (она работала уборщицей в механическом цехе).

Все, однако, стали замечать, что Ключева сделалась замкнутой, отрешенной от жизни. Глаза ее, казалось, подернулись какой-то невидимой пленкой. Попытки людей поговорить с нею по душам Татьяна воспринимала болезненно. Пойти учеником токаря неожиданно отказалась.

На заводе не знали, что к ней домой зачастила «сестра» Ольга из секты истинно православных христиан, остроносая конопатая женщина с постным лицом. Она утешала Ключеву и день за днем готовила ее к приятию Божьей истины. Многие в проповеди сектантки вызывало недоумение, но «сестра» нашептывала, что только избранным может открыться божественный смысл учения.

Татьяна стала молиться, читать библию, сошлась с другими сектантами. Наставники погашали в ней все сомнения. На каждый случай у них была готова цитата Священного Писания. Жаждавшая утешения Татьяна охотно их слушала. «Жизнь наша – сон, а смерть – пробуждение, – говорили ей. – Весь мир погряз в грехе и безбожии. В нем нет ни сердечности, ни сострадания. Разве ты сама этого не видишь? Человек на земле должен жить лишь мыслями о небе и спасении души. Только вера дает утешение, только в общине ты найдешь истинных друзей».

Ключева вставала с молитвой, которая день ото дня становилась все усерднее. Дети уже подросли, старший ходил в школу, младший – в детсад. По утрам они с тоскою ждали, пока мать перестанет стоять на коленях, называть себя рабой и класть бесконечные поклоны. Они хотели есть.

В дневное время Татьяна была свободна. Она работала посменно. У нее стали собираться «братья» и «сестры» по вере. Расцеловав каждого из них, она с просветленным лицом вела их в комнату. Сына Татьяна выпроваживала на улицу, не считаясь с погодой. Собравшиеся читали потрепанные тетради и книги, рыдали над Откровением Иоанна Богослова, предрекавшего конец света, выкладывали на спичках «звериное число» и высчитывали год прихода сатаны.

Если на улице было не слишком холодно, Борис оставался доволен. Был повод не учить уроки.

Младший не связывал Татьяне руки. Ключева брала его из детсада лишь по субботам.

Когда «братья» и «сестры» не приходили к Татьяну, она сама шла к ним. Повязав до самых бровей платок и крестя перед собой общий коридор до выхода на лестничную площадку, Ключева удалялась с тетрадью под мышкой. В эти дни Борис, возвращаясь из школы, задвигал портфель под кровать и уходил на улицу.

Татьяна запретила сыну вступать в пионеры, он не ездил в пионерский лагерь. Желая не только словом, но и делом потрудиться во славу Бога, она усердно обучала Бориса молитвам. Едва сын садился за книги, она звала его на вечерние или ночные молитвенные собрания. И снова портфель задвигался под кровать. Мальчик смиренно шел рядом с матерью, глядя с тоскою на встречавшихся товарищей.

Ключева сделалась активной сектанткой и уже сама внушала Божью истину тем, кого считала подходящими для бесед.

Духовно изолированный от сверстников и учителей, Борис как бы остановился в своем умственном развитии. Два года он сидел во втором классе, два года в третьем, был оставлен с заданием на осень в четвертом.

Когда соседи просили Татьяну больше приглядывать за сыном и не оставлять его одного, она отвечала: «На все воля Божья. Даст Бог, будет хорошим, не даст – значит, так угодно Богу. Я молюсь за него».

Молитвы, однако, не мешали Борису усваивать дурные привычки: сквернословить, жестоко избивать ребят послабее, воровать арбузы в ларях, капусту с машин, доски со строительства.

Клюева за время учебы сына ни разу не была в школе. Сектанты внушали ей, что сын служит сатане. Мать пытались вызвать на педсовет, но она ответила члену родительского комитета, приходившему к ней, что полагается не на педсовет, а на Бога. Наконец учителя сообщили на завод, что Борис совсем перестал ходить в школу. С Татьяной решил побеседовать начальник цеха.

– Все от Бога, – невозмутимо отвечала Клюева. – Вам Бог дал быть начальником – вы начальник. Мне дал Бог быть уборщицей, я – уборщица. Значит, господь не дал ему разума учиться.

Сама собою беседа уперлась в вопрос о вере.

– А вы не верите, что есть Бог? А почему же я чувствую, что он есть, что он во мне? – говорила она. – Мне было тяжело, и он дал мне утешение, научил терпеть. Я страдаю, но у меня на душе счастье... Почему так много молилась? Я спасала душу. Я грешница. А о Борисе я день и ночь думаю. Я молюсь за него. Бог его не оставит.

Начальник цеха сидел потрясенный. Только теперь он понял, что Клюева в свое время нуждалась не столько в материальной помощи, сколько в участии, в добром слове; понял, что этого слова ей в цехе не сказали.

Теперь к Татьяне стали внимательны, посещали ее, пытались вызвать на откровенность.

Начальник цеха, несмотря на то, что все интернаты были укомплектованы, хлопотал, чтобы старшего сына Клюевой изолировали от матери и поместили в школу-интернат. Но было уже поздно.

Татьяна решила уйти с завода.

Ей долго не выдавали трудовую книжку, уговаривали, просили одуматься. Но она обратилась в обком профсоюза, и расчет пришлось оформить.

Начальник цеха не оставлял забот по устройству старшего сына Клюевой в интернат. В середине сентября с помощью директора завода он добился места. Теперь Бориса предстояло найти. За мальчиком трижды приходили домой, но ни разу его не заставляли. Татьяна говорила, что не имеет понятия, где сын.

Сердце матери разрывали противоположные чувства. С одной стороны, она боялась за будущее сына, с другой – опасалась, что его отправят в интернат «служить антихристу».

Когда сын говорил, что заночует у товарища, она не настаивала на том, чтобы он остался дома.

Старик Астрединов, напарник Татьяны по новому месту работы, показался ей вначале человеком, которому можно открыться, не опасаясь насмешек. Много с ним было переговорено в долгие ночи, прежде чем Татьяна призналась, что она верующая и посещает молитвенные собрания.

С этой ночи она пожалела о том, что ушла из цеха. Если бы не близость новой работы от дома, Клюева давно бы ушла на другой объект.

Татьяна уверяла себя, что старик берет верх в спорах потому, что больше начитан в Писании и умеет цепляться за пустячные противоречия в книгах, возможно, кем-нибудь искаженных, и что ему не поколебать того, что вошло в ее душу. Татьяна старалась затоптать в своем сердце уголки сомнений, вызванных греховными речами старика...

Стройплощадка была тиха и безлюдна. Вечерняя смена в субботу и воскресенье не работала.

– Бестолковая у нас с тобой сторожба, Татьяна. Ты в один конец, я в другой. Пока обойдешь – полчаса. А склад без присмотра. Давай-ка мы с тобой сегодня так: один будет ходить, другой где-нибудь напротив склада сядет, хоть вон за той катушкой из-под кабеля. А потом

кто ходил, отдохнет, а кто сидел, походит. Если заметишь, кто полезет к складу, свисти в свой свисток милиционерский. А я стрелять буду. Отгоним!

Старик отправился в обход.

Татьяна сидела на порожнем ящике, за высокой катушкой из-под кабеля, и прислушивалась к последним голосам ребят и девушек в соседнем поселке, где жила сама. Около часу ночи песни и смех смолкли. Воцарилась густая и мрачная тишина. Ключева зябко ежилась в стареньком плаще. Лето осталось позади. Сентябрьские ночи стали прохладными.

С дедом Татьяне было веселей. Теперь он придет нескоро. Объект большой, разбросанный, пять домов.

Неподвижность и тишина клонили к дреме. Ключева старалась отогнать сонную одурь, но глаза слипались и голова повисала на грудь. Сколько Татьяна просидела в полузабытьи, борясь со сном, она не знала. Потом сделалось легче. Чтобы окончательно прогнать оцепенение, женщина поднялась с ящика, потянулась.

Вдруг она с испугом вспомнила, что с тех пор, как Астрединов ушел, она ни разу не взглянула на двери склада.

Сон сразу отлетел в сторону.

Татьяна высунулась из-за укрытия. У одного из складских помещений лампочка не горела. Дверь казалась запертой.

Женщину стала бить нервная дрожь.

«Может быть, просто лампочка перегорела?»

Татьяна сунула в рот свисток. Потом передумала. Уверенности в том, что лампочку погасил кто-то умышленно, не было. Старику пришлось бы напрасно бежать через весь объект.

Ключева с опаской стала приближаться к складу. Чем ближе она подходила к двери, тем увереннее чувствовала себя. Дверь выглядела плотно прикрытой. Татьяна была уже в метре от двери, когда увидела, что замка на кольцо задвижки нет и что сама задвижка отодвинута.

До ее слуха из склада донесся какой-то шорох.

Ноги онемели. Она перестала чувствовать спину.

«Там люди!»

Она вскрикнула не своим голосом, с лязгом задвинула засов и стала пронзительно свистеть.

В складе что-то грохнуло, словно бросили пачку железа. По двери забарабанили кулаки, потом послышалась ругань.

Через минуту дверь начала сотрясаться от гулких мерных ударов. Били чем-то тяжелым, пытаясь выбить филенку. В этот же миг ахнул выстрел. В тишине прокатилось звучное эхо. Татьяна разглядела бегущего старика.

Дед остался у склада. Татьяна побежала в контору звонить. Потом оба минут двадцать дрожали у входа, боясь, что пойманные преступники разобьют дверь раньше, чем приедет милиция. Только выстрел в дверь заставил преступников отойти от входа и прекратить стук.

Милицейский автобус привез почти весь дежурный наряд. Над входом вспыхнул свет. Лампочка оказалась просто выключенной.

Распахнули дверь.

– Выходи по одному!

Первым из темноты, навстречу свету, шагнул высокий, плечистый малый лет восемнадцати, угрюмо глядевший на плотное кольцо людей. Его ладони были грязны от пыли. Парня взяли за руки и отвели в сторону. За ним появился подросток лет четырнадцати, худенький, жалкий, в выцветшей рубахе и латаных брюках. Он дрожал, как лист.

Татьяна ухватила за полотно двери. Женщину поддержали.

Это был Борис.

В милицию в ту ночь Татьяна приехала в машине с решеткой на окнах. Взрослого задержанного куда-то увезли. Мальчика оставили в комнате дежурного. Женщина не хотела уходить и просидела в коридоре до утра. Ее лицо горело. Татьяне казалось, что в складе поймали не сына, а ее. Удобные, туманные слова из «святой» книги, которыми она прежде во всех случаях утешала себя, теперь отлетели, как шелуха. Окружающее стало четким и беспощадно обнаженным. Дети безбожников спали в теплых кроватях, а ее сын сидел под присмотром вооруженных людей. Богу не было никакого дела до нее и ее сына.

Утром ей придется возвращаться домой, встречаться с соседями, которые предупреждали Ключеву, что сын пошел по плохой дорожке. «Тебя с твоим Богом судить надо, – ожили в памяти слова управдома. – Твой отпрыск третий раз на моей кладовке замок ломает. Скажи ему, что там, кроме веников, ничего нет».

Татьяна тогда оскорбила управдома, потому что сына в кладовке никто не поймал. А что она скажет теперь?

И хотя оправдом и соседи по-прежнему вызывали у Ключевой неприязнь, Татьяна уже не оправдывала себя. Напротив, чем длиннее становились минуты ожидания, тем безжалостнее она терзала себя упреками.

Незаметно подкралась мысль: «Домолилась».

Ключева испугалась этой мысли, но отогнать ее уже не могла. Она обвиняла себя в слабости веры, но этот упрек вызывал еще большее раздражение. Татьяна вспоминала, где, когда и что говорилось ей о Борисе.

«Нагуляла, а теперь за Библию, а чадушку на улицу. От забот прячется». Эти слова соседки она мысленно повторяла бесчисленное число раз, и щеки ее горели, как от пощечин.

Ночи, казалось, не будет конца.

Наступило утро. Судьба Бориса Ключева решилась не вдруг. Когда выяснилось, что за ним приходили домой учителя из школы-интерната, оперуполномоченный задумался. Первой мыслью было направить подростка в школу-интернат. Но преступление Ключева считалось нештучным, и никто не мог заранее угадать, каким будет его влияние на товарищей по классу и общежитию. Лейтенант решил сначала побывать у Ключевых, а потом поговорить с директором интерната.

Медленное сентябрьское солнце подымалось над домами. По широкой асфальтированной магистрали бежали такси, самосвалы, троллейбусы. В заводские корпуса вливались потоки людей, спешивших на работу.

Вместе с оперуполномоченным Татьяна ехала домой.

Зажатые многоэтажными зданиями, неожиданно появились невысокие строения первых послевоенных лет. Мотоцикл остановился у нужного дома.

Полутемная комната была освещена лампадой. Перед тремя рядами икон и иконок чадил тусклый огонек. Сверху сумрачно глядели засушенные лики. На другой стене топорщились концы обрезанных проводов: репродуктор был снят. На тумбочке лежало евангелие.

Здесь жил Борис Ключев.

Потом оперуполномоченный пошел по соседям.

Татьяна осталась стоять, прислонившись к шкафу. Она пылала от стыда и отвращения к себе.

Теперь оперуполномоченному многое стало ясно. Возвратившись в отдел милиции, он по телефону пригласил к себе директора школы-интерната.

Выслушав лейтенанта, директор не высказал своего мнения и решил посоветоваться с учителями. Вернулся он в милицию с группой ребят.

Ответ был положительным. Бориса брали в пятый класс.

Ключев ушел из милиции, окруженный гурьбой воспитанников.

Татьяна и сын стояли за оградой школы. Борис вышел проводить мать.

– Учись, сынок. Специальность дадут и человеком станешь. А мы с Володиёй проведывать будем. Ты у нас в семье – мужчина.

Татьяна поцеловала его и хотела перекрестить. Но неожиданно для себя удержала руку. Солнце стояло уже высоко. Наступал день.

МАТЬ И ДОЧЬ

В дочери Мымрикова не чаяла души.

Она выстрадала ее. В детстве девочка непрерывно болела. Матери казалось, что за дочь она несет заслуженный крест судьбы.

В молодости Елена Мымрикова работала официанткой. Ее стройная фигура в крохотном белом передничке притягивала к себе десятки мужских взглядов. Она знала посетителей, которые обедали в ресторане, чтобы только увидеть ее. Постоянное других был один из командированных, живший уже около месяца наверху, в гостинице. Он не досаждал ей приставаниями, не писал записок, как другие клиенты, не назначал свиданий, но Мымрикова видела, что он ходит в ресторан ради нее.

Встретились они случайно. Елена шла к портнихе, приезжий спешил куда-то на завод по делам.

Знакомый остался в ее памяти порядочным человеком. Мымрикова во всем винила только себя. Уезжая из города, он оставил ей свой московский адрес, откуда-то из Сибири выслал крупную сумму и часто писал из разных городов. Но Елена увлеклась аккордеонистом из ресторанного джаза. Тот был на семь лет моложе московского знакомого. Лето пролетело, как один день.

Она спохватилась слишком поздно.

Когда родилась дочь, Мымрикова уже не представляла себе жизни без нее. Елена снимала частную квартиру, и ее мечтой стало приобрести собственный угол. Если раньше рублевки и трехрублевки, которые она вечером приносила домой, уходили так же легко, как и доставались, то теперь она их упорно копила. Как только жестяная банка из-под конфет оказывалась полной мятых бумажек, Мымрикова относилась деньги на книжку. Тут были не только чаевые. Захмелевшие клиенты не всегда следили за правильностью подсчета.

Кончилось тем, что Мымрикову вызвал однажды директор и предложил подать заявление об уходе. Чтобы не портить трудовой книжки неприятной записью, она последовала его совету.

С тех пор Елена работала лоточницей на центральном рынке. Получала от выручки. Если попадался ходовой товар, заработок бывал сносным. Копить Мымрикова продолжала. Цель ее – приобрести полдома в тихом переулке – приблизилась к своему осуществлению неожиданно. Со своей тележкой Елена обычно стояла у входа в здание, где располагался склад продбазы. Кладовщик Прохончук, крупный мужчина с красным лицом и с фигурой циркового борца, глядя на бойкую лоточницу, сказал однажды:

– А тебе сколько ни дай, все продашь.

Через неделю он предложил Мымриковой сбыть без накладной ящик лимонов. Деньги она ему возвратила в тот же день. Из них Прохончук дал Елене Андреевне третью часть.

Домик был тихий, просторный с деревянными крыльями ставен. Он стоял у подошвы почти отвесного бугра. Весной, когда сверху гремел по булыжному желобу ручей, Светлана пускала с мальчиками корабли. Вечерами наверху пламенело окнами огромное здание. На большой дом девочка глядела с любопытством и грустью. За ним начинался огромный и интересный мир.

Когда Светлана подросла, она стала ходить на бугор. В большом доме на горе помещалась школа.

После семилетки Светлана поступила в техникум. Их домик казался ей теперь маленьким, приплюснутым, игрушечным, а жизнь в нем – неинтересной. Мать вставала рано, возвращалась в темноте. Чтобы скрасить одиночество, Светлана отдавалась чтению. Это сделалось ее любимым занятием. Книг у нее было два больших шкафа. Как мышь в норку, мать несла в дом свертки, пакеты, узлы. Она пребывала в постоянных хлопотах: бегала по коммиссионным,

ходила по портникам, приглядывалась, приценивалась, покупала. Светлане шел восемнадцатый год.

Приходя из техникума, дочь делилась с матерью новостями. Как-то она с восторгом стала рассказывать Елене Андреевне о мальчишке, «от которого все девчонки без ума». Всеобщее уважение парень, по словам Светланы, снискал довольно странным образом.

Преподаватель алгебры вызвал одного за другим двух студентов, и оба не знали заданной теоремы.

– Может быть и вы, Грибанов, не успели заглянуть в учебник Новожилова? – спросил он третьего, макая перо в чернильницу и готовясь поставить очередную двойку.

– Не успел.

– Ах вот как!

– Но теорему докажу, – сказал неожиданно Грибанов.

Старик отложил перо и надел очки.

– Что ж, любезно вас прошу, – произнес он. – Любезнейше прошу. Итак, формула общего многочлена геометрической прогрессии.

С замиранием сердца Светлана следила за поединком. Парень то стучал мелом по доске, то стирал написанное, то задумывался и снова начинал писать. Когда буквенные обозначения начали лепиться у нижней планки огромной доски, девушка в волнении открыла учебник и стала сравнивать написанное с авторским решением. Восторгу ее не было границ. Решение было окольное, громоздкое, но верное. Старик поставил Грибанову три: среднее между пятеркой за смекалку и двойкой за прилежание. С тех пор имя юноши все чаще и чаще упоминалось в разговорах девушки с матерью. Наконец он и сам появился в их доме.

Это был угловатый парень с деревенским выговором, одетый в жалкий костюм. Из коротких рукавов торчали длинные худые кисти. Он был молчалив и несмел. Рядом с красивой, элегантно одетой Светланой он казался Елене Андреевне неразвитым и убогим. И тем неприятнее матери было видеть, что дочь потеряла от него голову. Парень тоже увлекся девушкой. В общении он удивил всех тем, что забросил свои математические книжки и отправился вместе с другими разгружать вагоны. Через месяц на нем увидели дешевенький, но приличный костюм.

Мать всеми силами старалась помешать его дружбе с дочерью. Елена Андреевна была уверена, что увлечение это долго не продлится. Она желала видеть Светлану замужем за обеспеченным человеком.

Давно уже дела и помыслы Елены Андреевны были сосредоточены вокруг будущего дочери. Мымрикова стремилась сделать его безоблачным. Платья девушки не вместились в шкафах. Ее шубы и шерстяные кофточки являлись предметом зависти подруг. Елена Андреевна поседела, подурнела, боялась израсходовать на себя лишний рубль: все берегла для дочери. Когда дочь увлеклась музыкой, Мымрикова купила ей пианино.

Эта покупка не истощила денежных запасов Елены Андреевны. Однажды Светлана увидела в чемодане с бельем пачку денег. Мать объяснила, что не успела сдать выручку. Но билеты были новенькие и все одного достоинства – десятирублевки. С некоторого времени у них в доме ненадолго стал появляться полный мужчина с красным лицом. Мать с ним о чем-то шушукалась, а после его ухода шелестела в своей комнате купюрами.

Как-то Мымрикова возвратилась с работы расстроенная. При внезапной проверке бухгалтер обнаружил у нее бездокументный товар. Ночью у Елены Андреевны начался сердечный приступ. Дочь вызвала скорую помощь. Когда мать почувствовала облегчение, Светлана со слезами умоляла ее:

– Ну, мамочка, ну, миленькая, брось ты этого толстого. И я тебя буду любить. Ну зачем нам столько всего?

– Для тебя же, дочка.

После болезни Елена Андреевна вышла на работу, со страхом ожидая решения своей судьбы. Компаньон подошел к ней и сунул в руку документ, составленный задним числом. Это была фактура, которая оправдывала излишки, обнаруженные у Мымриковой бухгалтером. Скоро все пошло по-старому.

В один из летних дней Грибанов пришел к девушке. Теперь он уже не напоминал прежнего неуклюжего малого: возмужал, приделся. На двери висел замок. Он опустился на скамейку рядом с соседкой-старухой. Минут через пятнадцать к дому подкатила «Волга». За рулем сидел толстяк с красным лицом. Опустив стекло кабины, он крикнул старухе:

– А где же Елена?

– А кто ее знает. На работе, верно.

Он включил газ и уехал.

– Кто это? – спросил Грибанов.

– Раньше на Щепном сбоем торговал в ларьке, а теперь в кладовщиках где-то.

Юноша удивленно сдвинул брови.

– Какой же у него оклад, если машину купил?

– Оклады у них маленькие, да доходы большие.

– А зачем он сюда?

– Значит, есть дела. Он здесь часто. Без дел не приедет.

Грибанов не стал ждать. И больше не приходил.

Сначала Светлана рассердилась. Потом плакала тайком от матери, а после защиты диплома, когда стало ясно, что им предстоит разъехаться в разные концы, смирила гордость и решила выяснить причину столь неожиданного разрыва.

– Знакомые твоей матери мне не нравятся. Да и не пара я тебе. У меня всего один костюм... – сказал он.

– А я? Я же ведь...

– А ты ничего не видишь?

Придя домой, девушка налила стакан неразбавленной уксусной эссенции, решив этим путем оборвать душевные муки. Резкий, отвратительный запах жидкости, поднесенной ко рту, вызвал непроизвольную дрожь. Светлана ужаснулась тому, что должно было произойти. Она с отвращением выплеснула эссенцию в раковину умывальника. Выйдя из кухни, девушка легла на диван и долго лежала с сухими глазами. Потом резко поднялась, лихорадочно стала выбрасывать из шкафа вещи, пока не нашла два платяца и рабочий костюм, купленные на деньги, которые заработала во время летней практики. Уложив чемодан, она села за стол.

«Твои вещи и ты испортили мне жизнь. Я уезжаю и прошу мне не писать. Светлана».

Адрес дочери Елена Андреевна узнала у ее подруги по техникуму, оставшейся в городе. Теперь, чтобы вернуть дочь, Мымрикова готова была даже дать согласие на брак с Грибановым. Но дочь не отвечала на письма. Разгневанная женщина решила на время предоставить ее самой себе. Мымрикова была уверена, что избалованная Светлана, хлебнув горя, в конце концов обдумается. Но дочь продолжала молчать.

Первый ответ с целины пришел после того, как мать написала, что с тем толстяком все кончено. Но это не было правдой. В ответном письме Светлана называла мать милой, умной, самой дорогой и хорошей. На следующий раз почтальон принес от дочери небольшой перевод. Елена Андреевна растрогалась до слез. Она отослала Светлане деньги обратно. Дочь сообщила ей, что через год приедет в отпуск. И Мымрикова жила теперь ожиданием этой встречи. С радостью она думала о том, что они небедные люди, тайно сознавала свою значительность и проводила время в прежних хлопотах по устройству гнезда для дочери.

Все рухнуло неожиданно. Бухгалтер, приняв от Мымриковой документ, который она получила от Прохончука, сделал вид, что поверил ей. Улик у него не было, но он стал внима-

тельно следить за обоими и, когда убедился, что подозрения не напрасны, сообщил обо всем в прокуратуру.

Следствие подходило к концу, когда с целины приехала Светлана, вызванная телеграммой. Девушка наняла защитника, потом попросила свидание с матерью. Ярким весенним днем мы шли со Светланой Мымриковой по городу. За дорогу мы не проронили ни слова. Когда мать и дочь встретились в сумрачной, приземистой комнате следственного коридора, они, всхлипывая, долго не выпускали друг друга из объятий. Наконец, отняв от плеча матери мокрое лицо, девушка сказала:

– Мамочка, отдай ты эти деньги. Тебе меньше дадут. Ну зачем тебе?

Мымрикова жадно глядела на дочь красными от слез глазами.

– Глупая ты. Ты еще ничего не понимаешь. Они тебе еще понадобятся. А за что же я здесь?

Они стояли рядом, родные и бесконечно далекие.

Вечером Светлана Мымрикова уехала. В дом под горой она не заглянула.

ОПЕРАЦИЯ «ШНИЦЕЛЬ»

У него была страсть: женщины и автомобили. Эта страсть не давала ему окончить ни один институт, хотя учился он в трех. Несмотря на то, что с выходом на пенсию отца, получавшего крупный оклад, не стало больше карманных денег, молодой человек сохранил обе склонности.

Разгружать вагоны после окончания лекций его не влекло. Он оставил учебу в вузе и после трехмесячных курсов сделался поваром. В отделе кадров треста столовых повара с незаконченным высшим образованием взяли на персональный учет. Через два года его назначили завпроизводством одной из крупных столовых в центре города.

Красавец-повар, как и в студенческие годы, пользовался благосклонностью женщин, адреса которых теперь едва помещались в его записной книжке. Что касается автомобилей, то «Волга» небесного цвета, попавшая к нему через руки перекупщика, была почти новой.

Дом на высоком фундаменте, построенный всего за два года работы в столовой, был обнесен кирпичным забором. В глубине двора разместился гараж из белого силикатного кирпича, а по участку были посажены тоненькие фруктовые деревца, ярко побеленные, с четкими приствольными кругами. Участок пересекали асфальтовые дорожки, а у самого забора стояла собачья конура, напоминающая домик в сказочном стиле. К его двускатной крыше тянулся электрический провод: у Полкана было освещение. В саду расстилались яркие цветники, а в центре возвышался фонтан, искусно обложенный большими грубыми камнями. Вечером он искрился водяными брызгами.

Хлопоты по строительству и поддержанию дома в образцовом порядке сын возложил на пенсионера-отца, умудренного великим житейским опытом. За два года, прожитых на новой улице, ни сын, ни отец не знали в лицо ни одного соседа. Ими тоже мало кто интересовался. Нашедшие в жизни точку опоры, они, может быть, прожили бы в своем гнезде достаточно долго и нескоро привлекли бы внимание людей, если бы не случай, который заставил соседей заговорить о них.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.